

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Привезли его в Вологду. Ночевал он в полицейской части — там одна унылая комната была перегорожена огромными канцелярскими шкафами, за ними стоял длинный продавленный диван, обитый черной клеенкой, — его предоставляли на ночь проезжающим ссыльным.

Днем его привели в губернаторский дом. В своем служебном кабинете губернатор, не поднимаясь из-за стола, сухо объявил Шелгунову, что местом ссылки назначает ему уездный город Великий Устюг. Шелгунов спросил, нельзя ли назначить ему другой город — поближе к губернскому центру, к Вологде. Губернатор пожал плечами, ему было безразлично, куда определить этого ссыльного, и сменил он Великий Устюг на Тотму.

Выехал Шелгунов из Вологды в санном возке, запряженном парой лошадей. Всю дорогу его сопровождал жандарм — он спокойно дремал, уткнувшись в ворот тулупа. Доехали до Тотмы, и там жандарм предоставил сосланного самому себе.

Шелгунов снял комнату в первом попавшемся семейном доме, где мог столоваться.

Это была обыкновенная изба. Печку в ней хозяйка затапливала в полдень, а с утра было страшно холодно, и он сидел дома в пальто и в валенках. Когда от печки начинало исходить тепло, он садился к столу работать — писать для «Русского слова». Но и во второй половине дня пальцы сводило от холода, и он то и дело вынужден был отходить от стола — погреться у печки.

Он написал Людмиле Петровне в Цюрих: «Письма мои и ко мне идут через руки начальства, то есть представляются и получают распечатанными». Это никак не располагало к откровенности в переписке.

Ну что он мог написать Людмиле Петровне? «У тебя дети, вокруг — люди, которых ты любишь, у тебя Феня

и Софи, — одним словом, дом в полном составе. У меня же черные деревянные стены, и в них я так же одинок, как в равелине. Мне дома тоска. Я даже измышляю, как бы убежать из него почаще, и только журнальная работа удерживает меня в квартире».

Он бродил по улицам городка, по протоптанным в снегу дорожкам, среди голых и, казалось, зачочневших берез. Заглядывал в избы, когда его приглашали зайти, и видел повсюду угнетающую бедность...

Каждое утро к нему с крыльца стучались по очереди мальчики с корзинками. Когда мальчика впускали вместе с морозным воздухом в сени, он стаскивал с себя шапку и пропевал тонким голосом, на одной ноте: «Милостыньки, Христа ради!» В корзинке у него можно было увидеть ломти черного хлеба, уже собранного в других домах. Шелгунов тоже давал хлеб. Затем мальчик — Шелгунов это видел в полузамерзшее окошко — стучался в соседнюю избу, там жила вдова, которая содержала маленький постоялый двор для заезжих крестьян. У вдовы мальчик также получал ломоть хлеба. И так он каждое утро обходил все дома, где рассчитывал получить милостыню.

Одного мальчугана Шелгунов как-то зазвал к себе в комнату. Спросил:

— Отчего ты просишь милостыню?

Мальчуган, белоголовый, ясноглазый, ответил просто:

— Оттого что сирота.

— Как сирота?

— Отец и мать умерли, значит, два года тому.

— С кем же ты живешь?

— С бабушкой.

— Чем же вы живете?

— Милостыней.

— А бабушка?

— Просит тоже.

- Сколько ей лет?
- Восемьдесят два.
- И еще может ходить по миру?
- Да.
- А ты долго будешь ходить?
- Пока вырасту.
- А тебе сколько лет?
- Десять.
- А когда вырастешь, что делать станешь?
- Буду работать.
- Что же ты будешь работать?
- А все.
- Зачем же работать?
- Большому милостыню не подадут.

Шелгунов дал мальчику булку, сахару, немного денег...

Потом хозяйка рассказала Шелгунову, что постоянно просящих подавание старух и детей в Тотме человек пятьдесят. И люди вовсе не праздные или нерадивые — в семьях, где прибегают к подаванию. Они трудятся, как могут, но получают так мало, что без милостыни им не прожить...

В январе — уже наступил 1865 год — Николай Васильевич получил от Людмилы Петровны посылку из Цюриха — его позвали на почту, и там, в присутствии полицейского исправника, почтмейстер заграничную посылку вскрыл. «Сегодня получил две фуфайки и три пары шерстяных чулок, — уведомлял Шелгунов Людмилу Петровну. — Не понимаю, чего усердствует почтмейстер: он не только вскрывал посылку в присутствии исправника, но еще и вытряхивал фуфайки: верно, думал найти бомбы или ракеты».

А вслед затем пришло от нее письмо. Она сетовала, что последнее время он, судя по его письмам, относился к ней враждебно, словно не желая понимать

печальные обстоятельства ее жизни. Он ответил откровенно: «Ты права, что я относился к тебе враждебно, но, друг Людя, мог ли я относиться иначе, когда у меня не было ни одного утешительного факта?»

В следующем письме она пожаловалась, что в Цюрихе зимой холодно. Это его насмешило: «Ах ты, голубчик! У вас холодно! А что в таком случае там, где тридцать градусов мороза, где в комнате восемь градусов и где нельзя писать по утрам, потому что коченеют руки».

Она писала, что с Серно-Соловьевичем у нее полный разрыв. При его ужасном характере жить с ним становится просто невозможно, и она думает о том, что маленького сына, Колю, надо избавить от такого отца и отправить в Россию. Шелгунов прочел ее письмо с недоумением, даже с невольным раздражением. Все-таки любит она Серно-Соловьевича или нет? А что касается Коли — «и тут я ничего не понял: разве ты решилась бы с ним расстаться?»

Оказывалось, и в самом деле так. Она написала, что, по ее мнению, лучше всего было бы разделить семью: она с Мишей останется в Швейцарии, а Колю отправит в Тотьму к Николаю Васильевичу, который, конечно, будет лучшим отцом Коле, чем Серно-Соловьевич.

«За предложение о разделе семьи благодарю. Но только за кого ты меня принимаешь?» — с негодованием ответил ей Шелгунов. Далее написал: «Здесь климат сибирский, разные детские болезни, дети мрут как мухи. Неужели тебе не шутя пришла мысль послать Колю в такой Севастополь? И неужели ты думаешь, что я соглашусь на это?»

Людмила Петровна отвечала в письме, что она озабочена, прежде всего, судьбой детей. Серно-Соловьевич уже невыносим, у него явная душевная болезнь, а она тоже больна и не в состоянии управляться с двумя

детьми. Тем более что теперь на ее руках будет пансион — в доме, приобретенном на средства Серно-Соловьевича в Женеве. Пансион — ее материальная опора на будущее, бросить его она не рискует. С другой стороны, она уверена, что жизнь Николая Васильевича в ссылке будет полнее, если рядом с ним появится ребенок.

«Если Коля останется у тебя, — написал ей Шелгунов, — он не рискует ни здоровьем, не рискует возможностью получить дурной мужской уход вместо ухода матери, ни, наконец, лишит твою жизнь и людей, окружающих тебя, той полноты, которая принадлежит вам по праву. Ну а если Коля умрет? Во всю жизнь не прощу себе этого. Мой климат не твой климат; мой уход не твой уход. И мне кажется, что я рассуждаю правильно, если решительно отказываюсь от присылки Коли в Тотму».

В другом письме Людмила Петровна спрашивала, не может ли он выслать ей денег. Другая в таком положении, наверно, постеснялась бы спрашивать денег у бывшего мужа, тем более что он уже не получал пенсионера как отставной полковник, решением суда был его лишен, жил теперь исключительно на свой скромный журнальный заработок. Но Людмила Петровна с ним не привыкла стесняться. А он отказать ей в помощи не мог — помнил свое обещание Михайлову не оставить Мишу и Людмилу Петровну. Отправил Благовосветлову законченную статью о Тотме и попросил, чтобы из его гонорара были высланы в Цюрих триста рублей. Сообщил об этих трех сотнях Людмиле Петровне: «Не сердись, что мало. Но теперь я не могу больше: все обзавожусь, ибо обносился...» Должна же она его понимать...

А тут пришло письмо из Подолья от Маши Михайлис: «Людинька писала, что хочет послать к вам Колю, а если вы не согласитесь его взять, то отдать его нам».

Маша предлагала уступить ей Колю, если ребенок будет стеснять Николая Васильевича. Но, может быть, напротив, присутствие мальчика его развлечет, ведь он жалуется на одиночество — «в таком случае я готова отказаться от просьбы уступить его мне».

Становилось ясно, что Людмила Петровна, так или иначе, не оставит этого ребенка у себя. И вопрос только в том, будет ли Коля жить в Подолье у Михаэлисов или в Тотьме у Николая Васильевича. Несчастный ребенок! И подумалось о мальчике-сироте, который здесь каждый день ходит просить милостыню. Коле просить милостыню не придется, но чувство сиротства не минует его, если он с такого раннего возраста будет жить без отца и без матери... Со всей решительностью Шелгунов написал Людмиле Петровне: «...вижу, во-первых, что Маша никогда не собиралась ко мне, как писала ты ранее, а во-вторых, что Колю решили спроводить во что бы то ни стало из родительского дома. А потому уж я, конечно, пожелаю иметь его у себя и не уступлю Маше». Его глубоко возмутило намерение Людмилы Петровны спроводить своего ребенка хоть в Подолье к сестре, хоть в Вологодскую губернию к бывшему мужу, а самой остаться в Швейцарии. Видимо, в оправдание свое она писала, что нездорова, но Шелгунов уже видел: ее истинная болезнь — растущий эгоцентризм, и в конце письма к ней добавил холодно и резко: «Насчет твоего пребывания за границей спрашивать не стану, ибо понял твою болезнь».

Людмила Петровна в одном из писем пренебрежительно упомянула о том, что Феня, святая простота, даже за границей пожелаала соблюдать пост, — и Николай Васильевич обиделся за Феню. Он успел убедиться в Сибири, что в этой скромной девушке глубоко заложено крестьянское воспитание, уж она бы не отослала от себя своего ребенка ни при каких обстоятельствах.

Постоянство — это достоинство — вот что следует понимать Людмиле Петровне, и он написал ей: «Феню считаю молодцом, что она не отстает от обычаев и правил, которые считает хорошими... Кланяйся ей».

Пришло от Людмилы Петровны новое письмо — она горько жаловалась на свою судьбу. Как ей плохо! Серно-Соловьевич помешался в уме, и уже приходится прятать от него Колю. Терпеть его безумие — выше сил человеческих... Николай Васильевич почувствовал, что, несмотря ни на что, ему ее ужасно жаль. «Сию секунду получил твое письмо и сделалось мне так тяжело, тяжело, как бывало только в равелине, да в Тотье раза два, — написал он Людмиле Петровне. — Ты там, а я здесь, и нам обоим дурно. Кому это нужно? Я боюсь сказать, что мне хуже... Какое бы написал я тебе письмо, если бы мою корреспонденцию не читала полиция».

В марте она уже прямо и, кажется, с некоторым замешательством спрашивала: как ей быть? Он отвечал, что вопрос может быть решен просто. Главное, любят ли она и Серно-Соловьевич друг друга и могут ли любить. Если нравственные связи между ними порваны, от пансиона в Женеве она должна отказаться — только так можно сохранить свое достоинство. А что касается Коли — что ж, она может прислать ребенка из Швейцарии к нему в Вологодскую губернию.

Он послал прошение губернатору о переводе его, ссыльного Шелгунова, из Тотьмы в Великий Устюг. Он жалел уже, что сразу не поехал туда — в соответствии с первоначальным решением губернатора. Великий Устюг, судя по рассказам, был вдвое больше Тотьмы. Подал он прошение 19 марта, а уже 25-го получил разрешение.

Наступала распутица, и с отъездом надо было потопиться.

В Великом Устюге Шелгунов поселился в избе, которая оказалась ему очень удобной, но хозяева могли предоставить только одну комнату, а он уже рассчитывал на приезд Коли. Малышу нужно было нанять няньку, значит, одной комнатой не обойтись. Но хозяин взялся в течение месяца выстроить для своего постояльца флигель.

Людмила Петровна сообщала, что Феня с Колей уже выехала из Швейцарии в Петербург. Рассказывала в письме, как плакал Миша, когда наступил момент расставания с Феней,— она, уезжая, решила к Людмиле Петровне не возвращаться. Это можно было понять, но Мишу Николай Васильевич от души пожалел.

О том, что маленький Коля уже в Подолье, у бабушки, Николай Васильевич узнал из ее письма. Евгения Егоровна спрашивала, высылать ли Колю к нему или оставить, пока подрастет, у нее в деревне. Задавала этот вопрос, видимо, только так, из приличия, вполне уверенная, что он ребенка возьмет. Поэтому дальше писала, что ему надо няньку приискать на месте. В Петербурге такую, чтобы согласилась выехать, не найти. Это означало, что и Феня не согласна ехать в Вологодскую губернию. А он-то, признаться, надеялся, что приедет именно Феня...

Весна в Великом Устюге наступала поздно, лишь в начале мая по реке Сухоне прошел ледоход. А в конце мая трава едва начинала зеленеть и березы еще не распустились.

Флигель в четыре комнаты с передней был готов. «Хоть бы приехал скорее Коля. Впрочем, сомневаюсь, чтобы он заполнил окончательно пустоту»,— написал Шелгунов Людмиле Петровне. В другом письме повторял: «Коля не заполнит всей пустоты, и в сердце еще остается свободное место... только что же с ним делать? Разве наклеить ярлык и написать: «Отдается внаем»?

Но кому нужна старая квартира!» — Кажется, в самом деле — никому...

Наконец июльским полднем к дому подъехал возок — привезли Колю с нянькой. Нянька имела вид отталкивающий — с какой-то шишкой на лбу... Он и рад был, что она не собирается оставаться в Устюге, — Евгения Егоровна наняла ее только для того, чтобы отвезти ребенка к отцу.

Да, Николай Васильевич понимал, что отцом ребенка будут считать его, Коля будет Шелгуновым и по отчеству Николаевичем. Но он уже принял на себя Мишу, примет и Колю. Неизвестно, смиритесь ли с этим Александр Серно-Соловьевич, но, если он действительно сумасшедший, ребенка ему отдавать не следует...

Маленький Коля не только не испугался Николая Васильевича с его мефистофельской бородкой, но пошел к нему на руки легко, словно и в самом деле к отцу. Это был красивый, белокурый и голубоглазый ребенок, и смотрел он так доверчиво и ясно, что Николай Васильевич был тронут.

Он пригласил местного доктора, и доктор нашел, что ребенок вполне здоров. Понизив голос, посоветовал как можно скорее спровадить приезжую няньку: шишка на ее лбу — это наследственный сифилис. Оставалось удивляться, куда глядела Евгения Егоровна и где она откопала эту бабу. Шелгунов поспешил отправить ее обратно в Петербург.

Няньку он нанял в Устюге.

Годовалый Коля ничуть его не стеснял. Замечая, что нянька за день устает, Николай Васильевич сам вечерами купал ребенка и укладывал его спать, помогал няньке стирать и гладить. Думал о странности положения мужчины, у которого есть дома маленький ребенок, а жены нет. «Зачем мне сорок лет, зачем я не красив, зачем нет женщины, которая бы полюбила

меня?» — печально сетовал он в письме к Людмиле Петровне. Не ради ее сочувствия написал об этом, но потому, что вдруг остро подумалось о неудачливости своей...

В одном из писем он спросил Людмилу Петровну: «Не имеешь ли вестей о Лариониче?» Она не ответила. Ответ принесли газеты: бросилось в глаза краткое сообщение, что литератор Михайлов умер в Забайкалье, на Кадаинском прииске. Шелгунов прочел — и сжалось у него сердце. Подумал невольно: если бы Михайлов не взялся напечатать воззвание «К молодому поколению» и после ареста не принял бы все на себя, он не попал бы на каторгу и, быть может, был бы теперь жив... Но тогда он не был бы Михайловым, не был бы тем, кого любили и уважали, революционером по духу, а значит — и по судьбе.

Людмила Петровна, узнав о его смерти, написала Шелгунову, что ее сердце уже «не принимает ничего остро, а больше как-то хронически». Должно быть, она и не надеялась увидеть Михайлова еще когда-нибудь. Написала, что понимает, как тяжела эта скорбная новость Николаю Васильевичу.

Только надежды на будущее помогали ему сохранять бодрость духа. А в настоящем утешало одно: Благовосветлов помещал его статьи в «Русском слове» безотказно, из месяца в месяц.

«В моих отношениях к вам столько прочного расположения, столько душевного уважения, что изменить эти отношения может разве только смерть, да вы сами... — писал ему Благовосветлов. — Я не испытал десятой доли того, что испытали вы, но я могу понимать, что значат ваши опыты и какая благородная натура должна быть у того, кто в этом водовороте сумеет со-

хранить полнейшее присутствие светлой мысли и спокойного характера...»

Ну, насчет его характера, якобы спокойного, Благосветлов несколько заблуждался.

Со своей стороны Шелгунов был глубоко признателен ему за неизменную поддержку, за редакторскую смелость. Ведь Благосветлов не колеблясь печатал в журнале такие, например, высказывания Шелгунова: «В последние десять лет мы подняли всевозможные вопросы, переговаривали обо всем; в период страстности каждый русский, зарядившись общественными вопросами, носился с ними точно начиненная бомба. А теперь те же бомбы лежат тихохонько по своим углам и ждут, чтобы какая-нибудь посторонняя сила сдвинула их с места».

Благосветлов не дрогнув поместил в журнале его статью «Рабочие ассоциации». В ней Шелгунов открыто заявлял: «При существующем экономическом порядке есть полная возможность жить не работая, на счет труда других, так что общество состоит из членов трудящихся и членов праздных». И дальше в этой статье: «...общество должно, наконец, достигнуть той точки, когда люди, исполняющие наиболее полезный труд, будут играть и первую роль».

В той же книжке журнала, в рубрике «Домашняя летопись», которую теперь вел Шелгунов, напечатаны были такие его слова: «Резкая правда будит; она не убивает энергию, как думают некоторые, а, напротив, возбуждает ее». И еще: «...совершенно бестактно и ошибочно уверять общество, что оно ни в чем не виновато, и усыплять его ожиданием, что вот явится добродетельный гений, который прогонит лиходея и преподнесет обществу, в виде награды за его тысячелетний сон, блюдо жареных рябчиков и целый рог изобилия человеческого благополучия».

А в захолустном Великом Устюге, кажется, никто «Русского слова» не читал. Шелгунов почти невылазно сидел дома, за письменным столом, выходил редко. На улице замечал, что некоторые поглядывают на него с неприязнью. Ему передали соседи, что какой-то местный чиновник рассказывал, будто Шелгунов сослан за то, что убил свою мать. И повернулся же язык на такую напраслину! Рассказывать, за что сослан, Шелгунов не считал нужным, и неизвестность эта порождала в среде людей ограниченных дикие слухи. Полицейский надзор за ним был явным и тягостным.

В январе 1866 года заглянул он как-то вечером к соседям. Там были подвыпившие гости, были привлекательные молодые женщины. Шелгунов заговорил с одной из них, тут же оказался ее муж. Он приревновал жену, потянул ее за руку, свирепо взглянул на Шелгунова и крикнул ему:

— Ссылная собака!

Шелгунов вспыхнул, развернулся и ударил его по щеке. И еще раз — по другой щеке — наотмашь.

Их кинулись разнимать. Шелгунов извинился перед хозяевами и ушел домой.

На другой день узнал он, что пощечины получил от него устюжский судебный следователь. Этот человек уже написал жалобу губернатору, надо ждать неприятных последствий.

И действительно. Губернатор прислал распоряжение: Шелгунов должен покинуть Великий Устюг и переселиться в уездный город Никольск.

Вместе с Колей и нянькой, со всеми вещами погрузился Шелгунов в возок на санных полозьях и по снежной дороге уехал в лесную глушь, в Никольск — совсем крохотный городок на берегу реки Юг.

О доме, в котором пришлось поселиться, он так написал Людмиле Петровне: «Дом на самом скате к реке

Югу, маленький, скверный, полугнилой, вокруг печаль и нищета».

В Никольске, так же как в Устюге и Тотьме, при-
велось Шелгунову встречать других ссыльных. Всем при-
ходилось не легче, чем ему. Сосланные по самым раз-
ным и часто незначительным поводам, жалкое владели
они существование, некоторые спивались. Они жили на
пособие — шесть рублей в месяц от казны, и не было
у них возможности заработать хоть сколько-нибудь са-
мим. Промышленности в этом захолустье не было ника-
кой, работы по найму — тоже. Среди ссыльных, конеч-
но, попадались мошенники и воры, по этой причине
местные жители недоверчиво смотрели на всех ссыль-
ных вообще. Некоторые ссыльные просили подаяние.
В Никольске один бывший поручик в пьяном виде про-
тягивал руку перед каждым встречным и кланчил ко-
пейку, а в трезвом виде просить стеснялся.

Однажды в Никольске пришел к Шелгунову, опи-
раясь на суковатую палку, неизвестный ему человек.
Отрекомендовался как отставной титулярный советник
Молчанов, пребывающий ныне в ссылке. На вид ему
было лет шестьдесят. Он слышал о Шелгунове как о ли-
тераторе и вот принес ему объемистую тетрадь своих
стихов, попросил ознакомиться. Рассказал, что первый
сборничек его стихотворений был отпечатан в Петер-
бурге еще в 1843-м, то есть двадцать три года назад,
а это — давно подготовленный второй сборник, прошед-
ший предварительную цензуру еще в 1847-м. Однако
напечатать вторую книжку Молчанову не удалось: из-
дать на свои средства было ему не по карману, а кни-
гопродавцы издавать ее не брались.

Шелгунов начал читать и увидел, что стихи у Мол-
чанова — чрезвычайно слабые. Но пожалел он ссыль-
ного стихотворца, не сказал напрямик, что все это ни-

куда не годится. Деликатно заметил, что современная читающая публика предпочитает прозу, почти никто не интересуется стихами, так что вряд ли возможно вот это издать... Молчанова явно утешил даже такой уклончивый ответ: настолько он не был избалован вниманием, настолько, должно быть, истерзан неизменным пренебрежением, что достаточно было стихи его не ругать, чтобы он воспрянул духом. Он признался, что и здесь продолжает сочинять. У него есть готовый план поэмы. Называется поэма — «Искупление».

— У меня уже готово начало, я вам прочитаю, — торопливо сказал Молчанов и, не дожидаясь согласия, открыл тетрадь.

Он стал читать написанное — медленно, торжественным басом. Он пересказывал, рифмуя кое-как, известные события, что предшествовали рождению Христа. Кончив чтение, сказал, уже слегка охрипнув:

— После этого я изложу рождение искупителя, его жизнь, смерть, историю первых веков христианства, потом перейду к святому Владимиру и крещению Руси. Наконец, дойду до наших времен...

Он явно не сознавал, что его поэма никакими достоинствами не обладает.

В другой раз он пришел и сумрачно сказал, что у него нет денег даже на почтовые расходы, а он хотел бы отослать подготовленный сборник стихотворений прежним друзьям в Петербург. От этих друзей не было ни слуху ни духу лет двадцать, однако он не сомневался, что почтовый пакет найдет их по старому адресу.

Шелгунов посочувствовал и дал ему небольшую сумму. Молчанов благодарил. Затем достал из-за пазухи тетрадь, раскрыл и протянул Шелгунову — попросил прочесть новое стихотворение, последнее из написанных. Встал за плечом Николая Васильевича и стал следить, как он читает.

Стихотворение называлось «К моему другу». В нем сначала говорилось о том, что поэта никто не хочет признать, он совсем одинок на жизненном пути, но вот у поэта появился друг... Молчанов ткнул в эту строчку пальцем и пояснил, что нашел он друга в нем, Шелгунове...

На следующий день Молчанов пришел опять. Сказал:

— У меня есть вот... — и достал из кармана какую-то бумагу.

Это был лист большого формата, на нем, во всю ширину листа, написаны были стихи, а сверху, в виде виньетки, нарисован чернилами огромный глаз, как бы всевидящее око, — и лучи вокруг. Оказалось, Молчанов хочет посвятить это стихотворение государю-наследнику. Но достаточно ли хороши предлагаемые стихи, чтобы он, автор, мог позволить себе подобную смелость? И как лучше их отправить, чтобы они вернее могли дойти по назначению? Он просил Шелгунова откровенно высказать свое мнение, просил совета.

Шелгунов прочел и хотел было ответить со всей едкостью, что стихи эти Молчанов, конечно, может посвятить государю-наследнику: они для этого достаточно плохи. Но сдержался и сухо посоветовал представить стихотворение, что называется, по начальству, через исправника.

Молчанов почувствовал, как холодно отнесся Шелгунов к его жалкой попытке обратить на себя снисходительное внимание самодержавной власти. Ссылный стихотворец стал оправдываться, говорить, что он тут погибает. Сколько он перетерпел!

— Беда ходит не по горам, лесам и болотам, а по людям! — горестно воскликнул Молчанов и стал жаловаться на судьбу, на то, что его не понимают, сравнивал себя с Еврипидом, Байроном и Пушкиным.

Шелгунов спросил, а за что он сослан? И Молчанов рассказал, что служил в департаменте, по службе своей столкнулся с жалобой раскольников на притеснения. Это было лет пятнадцать назад. Он вступился за тех, кто принес жалобу, и вот, за порицание мер, принимаемых правительством против раскольников, он был изгнан со службы, да еще обвинен в безнравственной жизни — и отправлен в монастырь замаливать свои грехи. Он содержался в монастыре... Рассказывал Молчанов бессвязно, и трудно было понять, как же он очутился теперь не в монастыре, а в ссылке.

Под конец он сказал, что сейчас меняет квартиру и попросил немного денег на переезд.

Назавтра Шелгунов проснулся рано утром, услышав, что в сенях кто-то разговаривает сам с собою. Это Молчанов явился ни свет ни заря. Шатаясь, вошел в комнату и сразу признался, что на деньги, выпрошенные на переезд, он вчера выпил, а сегодня спозаранок опохмелился. Он опустился на колени перед Шелгуновым, прося прощения, начал бормотать какие-то тексты из святого писания, стал просить, чтобы Шелгунов его прибил:

— Меня, старого дурака, бить следует!

Он даже хотел для этого принести из сеней свою суковатую палку... И снова попросил денег. Шелгунов поколебался, но все-таки дал.

— Не буду лгать, я теперь пойду в кабак, — с отчаянностью произнес Молчанов и ушел.

Это был человек погибший...

Тревожные вести приходили из Петербурга. Благовестов сообщал: «Русское слово» получило второе предостережение за ноябрьскую книжку, то есть за новую статью Писарева и «Рабочие ассоциации» Шелгунова, а за декабрьскую книжку — третье предостережение,

оно же последнее. Издание журнала приказано приостановить на пять месяцев.

Решение последовало в феврале, так что успела выйти в свет январская книжка 1866 года. В ней помещена была первая половина статьи Шелгунова «Одинокое заключение и смертная казнь».

«Чтобы иметь точное понятие об одиноким заключении, нужно посидеть самому года два в тюрьме, познакомиться лично с удовольствием смотреть на свет божий через матовые стекла», — как бы между прочим написал в этой статье Шелгунов. Вспоминая поведение Всеволода Костомарова на следствии, но, конечно, не называя его по имени, отмечал: «...люди трусливые, слабые, отличающиеся неподвижностью мысли и характера, высказывают с полной откровенностью не только то, что им следует, но даже и то, что им не следует, выкладывая своими ближними дорожку, по которой они думают возвратиться домой целы и невредимы. Ничто так не пугает человека, как таинственность и неизвестность... Поэтому напуганное воображение консервативного труса, рисуя ему всякие ужасы, доводит наконец его до той малодушной беспомощности, при которой он устремляет умильные взоры на тех, кто наводит на него ужас, рассчитывая найти свое спасение как раз там, где менее всего его следует искать. В этом случае расчет на таинственность и неизвестность удастся вернее всего, и запуганный человек употребляет все правды и неправды, лишь бы спасти себя». И, наконец, в тюрьме можно дойти до нервного расстройства, «когда стражи, как истуканы, исполняя молча свою службу, не отвечают вам ни слова или говорят ложь; когда во всем делается вид, что вы единственный житель обширной тюрьмы, в то время как по беспрестанному щелканью дверных замков вы очень хорошо знаете, что тюрьма полна узниками, как хороший огурец семенами...». Чему

же учит тюрьма человека, в ней побывавшего? «Все, что сделает тюрьма, заключается в том, что она послушит хорошей школой осторожности и научит его ходить так, чтобы не попадаться в капкан».

Это все напечатали! Но уже следующая, февральская книжка «Русского слова», на страницах которой он надеялся увидеть вторую половину статьи — о смертной казни, так и не вышла в свет.

Благосветлов, судя по его письмам, не падал духом. Надежды свои на ближайшее будущее связывал с предстоящим официальным торжеством — серебряной свадьбой царя. Он слышал, что ожидаются многие царские милости по этому случаю. Авось эти милости коснутся и журнала «Русское слово».

Торжество предстояло 16 апреля, а 4 апреля в Петербурге, у Летнего сада, неизвестный стрелял в царя. Не попал — и его схватили.

О том, как власти потрясены происшедшим, можно было судить по сообщениям газет. Теперь уже ни о каких царских милостях думать не приходилось. В Петербурге, по слухам, начались аресты — жандармские кареты разъезжают по городу каждую ночь.

Узнав, что арестован и посажен в крепость Благосветлов, Шелгунов ощутил это как новый удар. А что, если и к нему в Никольск нагрянут с обыском? В письмах своих Благосветлов не стеснялся в выражениях, и не должны его письма попасть в руки жандармов... Шелгунов собрал их, кинул в печку и сжег.

Однако Благосветлову повезло — просидел всего три недели. Выпустили его в начале июня. Но «Русское слово» — об этом сообщили газеты — было окончательно запрещено.

В письме к Шелгунову Благосветлов свое положение обрисовал иносказательно: «Вода течет, лодка опускается ко дну, и мне приходится в одно и то же время

затыкать дыру и выливать воду. Эта аллегория переводится на простой язык так: мне закрыли журнал... Поверите ли, что я на свободе чувствую себя не лучше, чем в крепости. Скверные нервы не дают ни минуты покоя, потому что каждый день несет новые тяжелые впечатления. Удивляешься, что за каменная природа человек: кажется, давно пора бы лопнуть хилому механизму жизни, а нет — он стоит и жаждет не покоя, а деятельности. Но деятельность-то становится не под силу; уж слишком много навалило хлопот и неприятностей. Одна мораль — если родишься в России и сунешься на писательское поприще с честными желаниями, — проси мать слепить тебя из гранита и чугуна. Мать моя озаботилась в этом отношении. Спасибо ей, родимой!»

Так что Благодетель сдается отнюдь не собирався. Месяцем позже сообщал: «Спешу известить вас, что открывается ежемесячный журнал «Дело», который вполне заменит журнал «Русское слово».

«Дело»? Почему Благодетель решил именно так назвать свой новый журнал? Не потому ли, что подобной перемены названия он давал понять: за словом должно следовать *дело*...

«Обстоятельства так круты, что надо волей-неволей сообразоваться с ними... — писал он Шелгунову. — Будьте хитры, как змий, и невинны, как голубь; это последнее наше испытание, и нам нужно перенести его твердо и благоразумно. Хлопот у меня бездна, и я измучен, как собака, или, говоря изящнее, как матрос, выброшенный в открытое море после крушения корабля».

Вскоре из нового письма Благодетель Шелгунов узнал, что из сорока восьми печатных листов, набранных в типографии для первого номера «Дела», двадцать два запрещены. В том числе «Внутреннее обозрение», написанное Шелгуновым. Почему? Потому что он

посмел заявить о необходимости раздать все свободные земли безземельным крестьянам. Вот и пытайся послужить своим пером благу народному! Как тут не скрипеть зубами!

В ноябре, через два месяца после выхода первой книжки нового журнала, Благосветлов уже приходил в отчаяние: «Должен вам откровенно сказать, что устал до истощения сил; чувствую, что еще хватит головы и энергии, чтобы бороться, но что это за борьба? Борьба глухая и пассивная, вы не видите ни врага, ни оружия... жизнь уходит на мелкие состязания, а результата никакого». И еще в том же месяце написал Шелгунову: «Вот уже пятнадцатую ночь как я не сплю нормальным сном: забудусь и проснусь. Напряжение нервов доходит до изумительной тонкости... Одеревенелость людей, которых я вижу, та счастливая одеревенелость, которая блаженствует, если сыта и сама довольна, раздражает меня, как самый сильный наркотик...»

В октябре 1866 года Людмила Петровна вернулась из Швейцарии в Петербург. Написала Николаю Васильевичу, что предпочитает приехать с Мишей к нему, но, конечно, хорошо бы не в Никольск, а куда-нибудь поближе к Вологде, если уж нельзя в губернский город.

Шелгунов был не против того, чтобы Людмила Петровна приехала. Прежде всего потому, что был убежден: маленький Коля нуждается в материнском воспитании. Все-таки нянька вряд ли может заменить мать... Шелгунов послал прошение о переводе его в Грязовец, городок по дороге из Вологды на юг, в Ярославль.

В декабре он получил губернаторское разрешение на переезд, но не в Грязовец, а в Кадников — поблизости от Вологды, к северу от нее.

Переехал он в Кадников. С трудом нашел кварти-

ру — снял избу, достаточно просторную для всей семьи — ожидал сюда Людмилу Петровну и Мишу. Нужна была общая рабочая комната, как бы кабинет — обоим, ему и Людмиле Петровне, еще две отдельные спальни, детская, гостиная, столовая. В один прекрасный день, в январе 1867 года, когда Николай Васильевич еще клеил обои, въехал во двор возок, а из возка вылезли закутанные по-зимнему кухарка Софи, горничная Минна и шестилетний Миша. Людмила Петровна задержалась в Вологде ради некоторых покупок. Приехала на другой день.

Миша за три года пребывания в Швейцарии вырос, научился болтать по-французски и по-немецки, но выговор у него был смешной: вместо «ш» он произносил «х» и себя называл: «Миха Хэлгунов». Миша не помнил Николая Васильевича, а Коля не помнил Мишу и Людмилу Петровну. Так что с матерью Коля как бы заново знакомился, и ему еще нужно было к ней привыкать.

И вот что потрясло Николая Васильевича: Людмила Петровна рассказала, что в Цюрихе доктор Гризингер, известный психиатр, лечивший Александра Серно-Соловьевича, предупредил ее, что Коле грозит наследственная психическая болезнь. Его спасение — в спокойной, размеренной жизни, в спокойной профессии вроде лесничего или садовника...

Ну, сейчас Коля был, безусловно, психически вполне нормальным ребенком. Медлительный увалень, робкий и простодушный, он оказался совершенной противоположностью Мише. По словам Людмилы Петровны, бабушка Евгения Егоровна прозвала Мишу «киргизом» — не только потому, что он был так же, как отец его, Михайлов, по-азиатски узкоглаз. Киргизом бабушка прозвала внука за буйный нрав, который выводил ее из себя, при всей ее невозмутимости. И здесь, в кадниковском доме, Миша целыми днями пел, завывал, стучал

палками, подражал гудку парохода, взвизгивал резко и неожиданно. С его появлением в детской начались ссоры и плач. Миша постоянно отталкивал маленького Колю, игрушки забирал себе. Нянька с первых дней невзлюбила Мишу и заступалась за плачущего Колю, но если начинал хныкать Миша, немедленно появлялась Людмила Петровна и вступалась за него, всякий раз находя ему извинения. Недостатков его не желала замечать. И когда Николай Васильевич указывал ей, что Миша избалован, не соглашалась и замечания выслушивала с неудовольствием. С Колей же была строга.

Она рассказала Николаю Васильевичу, что Александра Серно-Соловьевича пришлось поместить в психиатрическую больницу. Его брат Николай был осужден на вечное поселение в Сибири и в феврале прошлого года умер в Иркутске при неизвестных обстоятельствах...

Еще она рассказала, что в Петербурге, перед отъездом, заходила в редакцию «Дела». Видела Григория Евлампиевича Благосветлова, он показался ей грубым и не понравился. Видела там и Писарева, освобожденного из крепости совсем недавно, в ноябре. Писарев сказал Людмиле Петровне, что готов посылать Николаю Васильевичу новые книги, достойные стать материалом для статьи, для пера публициста.

Шелгунов послал ему из Кадникова письмо — поблагодарил за внимание. И получил ответ:

«Николай Васильевич! Мне было в высшей степени приятно получить ваше милое, дружеское письмо. Я часто думал о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах. Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, сче- том три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно

хорошо и когда книга составляет единственный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата.

Я предложил Людмиле Петровне служить вам по части выбора книг, но, право, не знаю, сумею ли я в скором времени быть вам полезным. Скажу вам откровенно, Николай Васильевич, что я теперь сам не свой и что голова у меня преглухая. Я все-таки живой человек, и на меня нахлынули такие впечатления, которых я был лишен в продолжение четырех лет, когда был вашим близким соседом».

Неожиданное и крайне огорчительное письмо пришло от Писарева в июне: «...я разошелся с тем журналом, в котором мы с вами работали, и должен вам признаться, что разошелся не из принципов и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий с Григорием Евлампиевичем. Он поступил невежливо с одной из моих родственниц, отказался извиниться, когда я этого потребовал от него, и тут же заметил мне, что если отношения мои к журналу могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить... Когда я увидел из его слов, что он считает себя олицетворением журнала и смотрит на своих главных сотрудников как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним...»

Ну что за досада! Шелгунов подумал, что, когда дело касается отношений редактора с его сотрудниками, не надо редактору быть человеком из гранита и чугуна, каким считает себя Благосветлов. Ведь с уходом Писарева в журнале возникает пустота, которую сегодня заполнить некому. Неужели Благосветлов этого не создает? Шелгунов послал ему откровенное письмо и скоро получил ответ: «Вы пишете мне, чтобы я подал Писареву первый руку примирения; я охотно и даже с удо-

вольствием сделал бы это, но я перестал его уважать. А как скоро я перестаю кого-нибудь уважать, пусть горят хоть два Рима: спасать я их не буду».

Благосветлов, как видно, очень хотел убедить Шелгунова в своей правоте и позднее написал ему еще раз о том же: «Мы переживаем время, когда люди, как металл, пробуются на двойном огне. Если выдержат пробу, значит, всегда будут хороши, а не выдержат — черт с ними, значит, дрянь. А сколько их, выдержавших пробу? И где они, эти выдержавшие? Их нет с нами, и вот почему в нашем крошечном, микроскопическом кружке должны быть восстановлены самые искренние и честные отношения. Мы не должны упасть друг друга, если этого требуют взаимная польза и общее дело».

В мае 1867 года Шелгунов послал прошение губернатору — просил позволить ему переехать в Вологду. Наконец разрешение пришло. И вот июльским днем он переезжал вместе с семьей в губернский город, причем по дороге их сопровождал полицейский надзиратель из Кадникова. С ними приехал к вологодскому полицмейстеру, представил — и лишь тогда убрался восвояси.

В Вологде многое сразу могло понравиться — и старый кремль, и тихие прямые улицы, обсаженные берегами, и неширокая спокойная река в зеленых отлогих берегах, по которым ветвистые деревья спускались к воде.

Шелгунов снял квартиру в центральной части города, возле бульвара. Квартиру подыскал просторную — чтобы никому в семье друг друга не стеснять.

В Вологде Людмила Петровна повела, можно сказать, светскую жизнь, по вечерам у них теперь часто появлялись гости, новые знакомые. Николай Васильевич приобрел фортепьяно. А ему Людмила Петровна еще в Кадников привезла из Петербурга корнет-а-пистон, —

он с детства играл на нескольких музыкальных инструментах — на фортепьяно, на скрипке, а лучше всего на корнете.

Но и в Вологде Шелгуновы жили как бы вместе и в то же время врозь. В сущности, они составляли две семьи: Николай Васильевич и Коля — одну, Людмила Петровна и Миша — другую.

В марте 1868 года в Вологде появился новый ссыльный, бывший петербургский студент Михаил Сажин. Пришел к Шелгунову — познакомиться. Пригласил к себе. Сажин уже поступил домашним учителем в одну интеллигентную вологодскую семью, и платили ему тем, что предоставляли стол и квартиру.

Шелгунов посетил его. Сажин жил на окраине города, в доме на берегу реки Вологды, занимал большой и светлый мезонин. За домом уже начинался лес.

Хозяин дома, Павел Степанович Летков, оказался начальником вологодского телеграфного отделения. Это был незаурядный, деятельный человек, занятый проведением телеграфных линий по всему русскому северу — в губерниях Вологодской, Архангельской и Костромской. Часто уезжал из дому, целыми днями не вылезал из тарантаса. В долгих зимних поездках он привык согреться водкой, незаметно для себя пристрастился к алкоголю, это уже грозило бедой ему и его семье.

Шелгунов стал бывать у Летковых. С нежностью глядел на четырех девочек, которые вечерами сидели с одной свечкой и готовили уроки. Среди них обращала на себя внимание третья сестра, Катя, — она была вечно с книжкой и удивляла Шелгунова не по возрасту умными вопросами.

Мать считала своим долгом учить дочерей игре на фортепьяно. Однако музыкальностью никто в семье не отличался, и Шелгунов морщился, слыша, как девочки барабанят по клавишам, — они играли все какие-нибудь

польки. Он с тревогой думал о том, что, если отец их сопьется — а дело к этому шло, — семья останется без средств к существованию, так что надо бы учить девочек полезному делу — например, шить. Он прямо сказал об этом жене Леткова. Такие разговоры она воспринимала страдальчески, ей ужасно хотелось видеть дочерей барышнями с дворянским воспитанием, найти им приличных женихов, и она гнала от себя мысли о том, что, быть может, им придется зарабатывать самим, своим трудом...

В доме Шелгуновых произошли перемены: вселился новый фактический муж Людмилы Петровны, некто Вольский Петр Станиславович. Николая Васильевича тревожило, как отнесутся к этому Коля и Миша, но мальчики отнеслись к переменам легко. Коля на малую привязанность к нему Людмилы Петровны отвечал такой же малой привязанностью. И не принимал он близко к сердцу ее поступки.

Людмила Петровна и Вольский не хотели задерживаться в Вологде. В начале мая они взяли с собой Мишу и уехали в Петербург. Коля, естественно, остался у Николая Васильевича.

Оставшись вдвоем с Колей, Шелгунов решил сменить квартиру. Перебрался в меньшую, в другой части города, в Заречье, на Архангельской улице.

Людмила Петровна, уезжая, взялась хлопотать в Петербурге о его переводе из Вологды в более теплые края. Взялась она также вести, если будет необходимо, деловые переговоры с Благодетелевым.

Но вот она сообщила в письме, что Благодетель при встрече сказал о нем, Шелгунове, «устал он» — в том смысле, что стал хуже писать. Однако из отправленного почти одновременно письма Благодетельского выходило, что, напротив, это Людмила Петровна ему сказала, что Николай Васильевич устал. Благодетель напи-

сал: «Одна фраза *устал он* произвела на меня самое скверное впечатление».

Кому верить? Шелгунов более склонен был верить Благосветлову. Он написал Людмиле Петровне: «Письмо Б. меня раздражило против тебя». Зачем она выставила его усталым, то есть как бы уже неспособным на усердные труды?

Не хотелось и мысли допустить, что Благосветлову он может стать ненужным. Хотя отказался же издатель «Дела» от Писарева... Правда, это не означало, что столь выдающегося критика он не ценил.

В июле Шелгунов прочел в очередном письме Благосветлова: «Печальная новость! Писарев утонул, то есть утонул, в душевно-расстроенном состоянии... Я знаю, что эта скверная новость неприятно отзовется в вашем сердце, как она отозвалась в моем. Но будем верить, что люди умирают, а идеи, честные и хорошие идеи, — живут».

Шелгунов приучил себя в крепости обливаться холодной водой, теперь он решил, что укреплять нервы таким способом нужно и Коле. Правда, мальчика он обливал по вечерам водой комнатной температуры. С острой жалостью думал: неужели его, бедного, ждет впереди душевная болезнь?

Он не был огорчен тем, что Людмила Петровна не взяла Колю с собой, и все же обидно было: старший брат Миша уже и в Швейцарии провел три года, и теперь будет учиться в Петербурге, а младший оказывался обделенным... «За что же одному брату дадут все, а другому ничего, — почти с ожесточением писал Шелгунов Людмиле Петровне. — Будь этот другой идиотом, я бы еще понимал, но он не идиот и не сумасшедший. А в Вологде, и без средств, я не могу ничего сделать для Коли...»

Может, он все же беспокоился раньше времени? С ролью воспитателя справлялся пока что довольно успешно. Мог только жалеть, что судьба не дала ему радости быть и в самом деле отцом.

Коля был трогательно простодушен. Как-то Николай Васильевич спросил его:

— Ты меня боишься?

— Боюсь.

— А ты меня любишь?

— Люблю.

— Отчего ты меня боишься?

— Оттого что ты старый.

— А отчего ты меня любишь?

— Оттого что ты добрый.

В другой раз, осенним вечером, Коля, когда Николай Васильевич укладывал его спать, спросил:

— А мама скоро сюда приедет?

— Не приедет,— сказал Николай Васильевич, нахмурился.

— А отчего?

Ну как это ребенку объяснишь?

— Оттого, что здесь скучно.

— А Миша приедет сюда?

— И Миша не приедет.

Возможно, другой на его месте предпочел бы утешить малыша, ответив, что и мама приедет, и Миша приедет, спи спокойно... Но Шелгунову тяжело было обманывать. Он уже решил про себя, что, когда Коля и Миша станут взрослыми, он честно расскажет им, что он для них не настоящий отец, хотя они и носят его фамилию. Колю он уже любил, кажется, как родного сына.

«Пожалуйста, пришли для Коли *Сказки Пушкина*,— написал он Людмиле Петровне.— Конька-Горбунка мы читаем каждый вечер, надо бы что другое. Пospеши».

«Конька-Горбунка» Коля знал уже почти наизусть. Николай Васильевич начал было читать ему сказки Перро, но малышу они решительно не понравились. Он не хотел слушать сказки про злых волшебников и людоедов... А когда Николай Васильевич вспомнил для него одну из басен Крылова, Коля пришел в восторг, и Николай Васильевич немедленно написал Людмиле Петровне в Петербург: «Ты сделала бы мне большое одолжение, если бы выслала басни Крылова с хорошими картинками... Деньги возьми у Благосветлова. 5 рублей, я думаю, достаточно».

А Благосветлов что-то стал задерживать присылку гонорара за статьи. В чем дело? Почему не шлет денег? Почему молчит? Ничего от него не получая почти два месяца, Шелгунов послал телеграмму. Пришел ответ: «На днях получите деньги и подробное письмо. Извините...» Однако Благосветлов прислал гонорар не полностью, так что Шелгунов не смог расплатиться с долгами.

«К рождеству мне нужно непременно отдать остальные долги... — написал он Людмиле Петровне. — Если ты найдешь возможность, объясни Благосветлову, не раздражая его, мои личные свойства: мне бы хотелось, чтобы он знал, что я никогда не лгу и не пишу того, чего нет или чего не думаю; что искренность и верность слову считаю одной из первых добродетелей; что я педант в своих требованиях; что в ссылке жить скверно; что в Вологде у меня нет ни одного человека из денежных, к кому бы я мог обратиться, а к кому могу обратиться, у тех нет денег. Что, по совокупности всех этих неблагоприятных обстоятельств, я не прищущу названия для того вожения за нос, которое позволил себе со мною Григорий Евлампиевич. Что я бы просил его на будущее время действовать со мною откровенно и прямо. Ну нет денег, так и напиши. Зачем прятать-

ся в дыру и финтить? И так тошно жить, а тут еще мучат свои. Нехорошо».

И кто же, как не сам Благосветлов, писал ему не так уж давно, что между ними должны быть «самые искренние и честные отношения»... Забыл, что написал тогда? Переменился, что ли?

Наверное, письмо Шелгунова было не слишком дипломатичным, но он предпочитал говорить напрямик. Однажды написал Людмиле Петровне: «...я плохой дипломат и люблю идти прямо, ибо короче». Кроме того, он действительно был педантом в своих требованиях. Все больше убеждался: таким и надо быть в жизни, надо дорожить репутацией человека точного, аккуратного и умеющего держать свое слово. Он записал такое правило для себя: «Сказал ли ты, например, что придешь в 10 часов, и приходи лучше 10 минутами ранее, чем одной минутой позже. Сказал ли ты, что занятые деньги отдашь через месяц, и приноси ты их лучше накануне, чем на другой день».

Благосветлов после долгих задержек наконец прислал деньги полностью, и Шелгунов смог отделаться от горестной мысли, что издателю «Дела» он стал не нужен. «Я всегда был мучеником той мысли, что я никому не нужен», — признавался он в письме к Людмиле Петровне. У него появилась бессонница, раньше он ее не знал.

Может, он и в самом деле стал хуже писать и в статьях своих монотонен, как его вологодская ссылка? Он глядел в окошко, на безлюдную улицу, где свистела вьюга и на снегу виднелись одни вороны, и чувствовал, что его существование на одном месте, словно на привязи, становится невмоготу.

По его просьбе Людмила Петровна в феврале 1869 года подала прошение о переводе мужа из Вологды в Тверь. Через месяц пришло позволение — но не в Тверь,

а в Калугу. После четырех с лишним лет ссылки в Вологодской губернии...

«Еду хоть к черту на кулички, лишь бы не оставаться дольше в Вологде», — написал Шелгунов Людмиле Петровне.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Калугу он приехал уже во второй половине мая 1869 года и решил квартиру в городе пока не снимать. Снял на лето дачу, то есть, попросту говоря, избу — возле речки, в двух верстах от города, на краю деревни Подзавалье. Рядом был великолепный сосновый бор.

В Подзавалье собрались вместе: Николай Васильевич с Колей и Людмила Петровна с Вольским и Мишей. Коля радовался, что наконец-то мама живет рядом, и Николай Васильевич ради Коли делал вид, что и он этим доволен.

Здесь, в Калужской губернии, летом было куда теплее, чем в Вологодской. Отогревались, можно сказать. Николай Васильевич каждый погожий день купался и учил плавать Колю.

Вскоре приехал сюда, чтобы повидаться с ним, Благосветлов. Внешне он несколько изменился за те годы, что они не виделись: погрузнел, поседел. Но так же щетинились его подстриженные усы, и характер не изменился — он был так же напорист и угловат.

Благосветлов только что вернулся из-за границы и рассказывал о своей поездке. Ездил он с определенной целью — попросить Александра Ивановича Герцена поддержать журнал «Дело» своим участием, выступить под псевдонимом или анонимно на страницах журнала. Ведь, начиная с конца прошлого года, Герцен уже поместил три своих заграничных очерка в петербургской газете